

### **Историческая антропология России: от теоретических дебатов — к конкретным исследованиям**

В отличие от истории ментальностей, восприятие собственно исторической антропологии в России оказалось сопряжено со значительными трудностями. В частности, под влиянием работ А. Я. Гуревича сам этот термин стал пониматься как синоним исследования ментальностей.

В 1994 году историк науки Д. А. Александров протестовал против отождествления исторической антропологии с историей ментальностей: по его мнению, тем самым неоправданно сужается поле исторической антропологии, которая сейчас предполагает в первую очередь изучение разнообразных форм быта и социальных практик. При этом он ссылаясь на работы британских и американских историков П. Берка, Э. П. Томпсона, Н. З. Дэвис [193, с. 3], которые А. Я. Гуревич практически оставил без внимания.

Однако этот «протест» остался незамеченным. Научный авторитет А. Я. Гуревича, недостаточное знакомство с достижениями зарубежных историков (за исключением школы «Анналов»), энтузиазм по поводу истории ментальностей, в которой увидели счастливо найденную новую предметную область исторической науки, — все это обусловило тот факт, что к середине 90-х годов XX столетия отечественные историки-русисты понимали историческую антропологию «по Гуревичу» как некое продолжение истории менталитета. Показательно, что написанный А. И. Куприяновым очерк становления исторической антропологии России (1996) по существу сводится к обзору работ по истории ментальностей, с «вкраплением» небольших сюжетов об истории частной жиз-

---

военачальников, не работа инженеров и конструкторов, а лишь «крестьянская выносливость и бесконечное терпение» помогли одолеть противника: «Победил менталитет советского народа, уходящий корнями в далекое прошлое» [203, с. 253]. Делая бессознательное начало (менталитет) главным героем войны, автор умножает число мифологем, связанных с этим периодом нашей истории.

ни и гендерной истории. Как эти «истории» связаны между собой и почему все они вместе образуют нечто, именуемое исторической антропологией, автор не объясняет [198].

К сожалению, ни конференция 1998 года в РГГУ [14], упомянутая во введении к данной книге, ни последующие теоретические обсуждения проблем исторической антропологии [15, 24] не внесли ясность в понимание сути указанного научного направления. В выступлениях историков-русистов на эту тему по-прежнему заметно слабое знакомство с реальными достижениями исторической антропологии в Западной Европе и США, зато очень сильно желание найти ее предшественников в России. Одни авторы понимают историческую антропологию в философском смысле — как внимание к человеку в истории, другие фактически отождествляют это направление с историей менталитета.

Недостаточное осмысление отечественными историками понятия «историческая антропология» привело к тому, что до самого последнего времени в России почти не было работ, авторы которых прямо ассоциировали бы свои исследования с данным историографическим направлением. Тем не менее уже сейчас можно назвать несколько тематических «полей», на которых происходит апробация историко-антропологического подхода. Одним из таких быстро расширяющихся «полей» стало изучение представлений о власти в ту или иную эпоху, политического сознания (или «менталитета») различных слоев населения, символики власти и т. п. — всего того, что в зарубежной историографии давно получило название *политической антропологии*.

Заметным стимулом к развитию этого направления исследований в России стало появление упомянутого выше двухтомного труда Р. Уортмана о «сценариях власти». Важное значение этой книги отмечалось в многочисленных рецензиях<sup>15</sup>, а также в ходе дискуссии, состоявшейся в редакции

---

<sup>15</sup> Рец. М. Д. Долбилова на первый и второй тома монографии см.: Долбилов М. Д. [Рецензия] // Отечественная история. 1998. № 6. С. 177–

журнала «Новое литературное обозрение»<sup>16</sup>. О влиянии работы Уортмана на современную отечественную историографию свидетельствует появление ряда статей, авторы которых прямо заявляют о своем намерении следовать в русле предложенного Уортманом подхода. Так, М. Д. Долбилов проследил реализацию «сценария власти» (включая создание соответствующей мифологии, пропагандистские приемы и т. п.) в борьбе самодержавия с польским восстанием 1863 года [230]. Наряду с работами других зарубежных исследователей истории государственной символики книга Р. Уортмана цитируется в статье О. Б. Мельниковой о церемониальных процессах в России XVII–XVIII веков<sup>17</sup>.

К тому же направлению следует отнести работы по истории российской политической культуры и, в частности, исследования Б. И. Колоницкого о политических симпатиях/антипатиях населения и символической природе власти в годы Первой мировой войны и революции 1917 года. В монографии, написанной им совместно с Орландо Файджесом, показан процесс десакрализации монархии накануне 1917 года и убедительно продемонстрирована роль языка и политических символов в противоборстве различных сил в ходе рево-

---

181. Рец. на кн.: *Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1: From Peter the Great to the death of Nicolas I.* Princeton, 1995; *Долбилов М. Д.* [Рецензия] // Отечественная история. 2001. № 5. С. 178–181. Рец. на кн.: *Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 2: From Alexander II to the Abdication of Nicolas II.* Princeton, 2000; *Семенов А.* «Заметки на полях» книги Р. Уортмана «Сценарии власти: Миф и церемония в истории российской монархии» // **Ab Imperio: Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве.** 2000. № 2. См. также указанную выше статью Д. А. Андреева, с. 145, сноска 9.

<sup>16</sup> См.: «Как сделана история» (Обсуждение книги Р. Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии») // Новое литературное обозрение. 2002. № 56. С. 42–67.

<sup>17</sup> *Мельникова О. Б.* Образ империи: церемониальные процессы в России в XVII–XVIII вв. (сравнительный анализ) // **Образы власти в политической культуре России** / Под ред. Е. Б. Шестопал. М., 2000. С. 95–115.

люции [247]. Исследование этой темы было продолжено Б. И. Колоницким в книге о политической культуре 1917 года [232]. Так история революции, традиционно рассматриваемая как история борьбы партий, политических институтов и лидеров, неожиданно предстает как конфликт, возникший по поводу «старых» и «новых» символов и атрибутов власти. Тем самым политическая история вписывается в социокультурную историю, и это характерно для современной мировой историографии.

Прошли те времена, когда ссылки на «наивный монархизм» крестьян или «забитость и невежество» масс служили достаточным объяснением прочности царского режима. Теперь исследователи детально изучают народные представления о власти в разные эпохи отечественной истории. Приведу только несколько наиболее важных работ.

В монографии П. В. Лукина анализируются представления о государственной власти в России XVII века. Автор ни разу не говорит об «антропологическом подходе» и лишь изредка употребляет термин «менталитет», однако ссылки на книгу М. Блока «Короли-чудотворцы» и на «Монтаю» Э. Ле Руа Ладюри недвусмысленно свидетельствуют о том, в русле какой традиции он ведет свое исследование. Книга интересна тонкой нюансировкой основной темы: вместо шаблонного тезиса о «наивном монархизме» вниманию читателей предлагается более сложная и неоднозначная картина. В частности, важными и убедительными представляются выводы автора о том, что особа царя считалась хотя и сакральной, но не равной Богу (т. е. не обожествлялась полностью), и что «непригожие речи» (дела о таких «речах» послужили П. В. Лукину одним из основных источников) вовсе не свидетельствуют о падении царского престижа в глазах народа: напротив, это проявление того, что царская власть занимала центральное место в политических представлениях русских людей XVII века [236, с. 52–54, 67, 102].

Образ царя в массовом сознании россиян на рубеже XIX–XX веков стал предметом изучения в монографии Г. В. Лоба-

чевой [235]. В своей работе исследовательница опирается преимущественно на два комплекса источников: с одной стороны, фольклорные материалы (сказки, былины, песни, половицы), а с другой — прошения на высочайшее имя, подававшиеся подданными в конце XIX — начале XX века. Приводимые автором данные относительно содержания и общего количества ходатайств, поступивших в императорскую Комиссию по принятию прошений на протяжении изучаемого периода, представляют большой интерес. Однако нельзя не заметить, что эти данные находятся в разительном противоречии с теми выводами, к которым приходит Г. В. Лобачева на основании изучения фольклорных материалов. Так, появление в начале XX века, особенно после первой русской революции, большого количества песен и частушек, высмеивающих Николая II и его семью, автор интерпретирует как «постепенное размывание монархического идеала в общественной психологии» [235, с. 105]. Как же тогда объяснить тот факт (приводимый Г. В. Лобачевой): в 1915 году в Канцелярию по принятию прошений поступило 85 602 ходатайства, адресованных царю, в 15 раз больше, чем в 1825 году, и в шесть с лишним раз больше, чем в 1881 году? А в юбилейном для монархии 1913 году количество прошений на царское имя достигло рекордной цифры — 202 822. Конечно, можно согласиться с Г. В. Лобачевой в том, что эта статистика сама по себе не свидетельствует однозначно о росте авторитета монарха [235, с. 115], но и не учитывать эти данные в общих выводах об отношении населения к государю накануне революции также было бы неверно. Выходит, тысячи людей продолжали надеяться на помощь монарха, в то время как другие уже распевали неприличные частушки о царе, царице и Распутине. Итоговая картина общественных умонастроений накануне свержения самодержавия получается очень пестрой и неоднозначной. Очевидно, нам нужны более тонкие исследовательские инструменты для изучения тех материалов, которые использованы в книге Г. В. Лобачевой.

В только что вышедшей монографии Б. И. Колоницкого «“Трагическая эротика”: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны» показано, каким тяжким испытанием подверглись монархические и верноподданнические чувства в предреволюционные годы. Хотя слухи об августейших особах могли не иметь ничего общего с фактами их биографий, а образы царя и членов его семьи были далеки от «оригинала», но порой «имидж», как подчеркивает автор, оказывал большее воздействие на политический процесс, чем реальные действия соответствующего персонажа [233, с. 14]. В итоге произошедшая за годы войны фрагментация монархической политической культуры обусловила пассивность монархистов в февральские дни 1917 года, что в немалой степени способствовало быстрой победе революции [233, с. 568].

В книгах С. В. Ярова, образующих своего рода трилогию, анализируется политическая культура (автор предпочитает пользоваться терминами «политическое мышление» и «политическая психология») рабочих и крестьян в годы революции и военного коммунизма. Как происходила политизация питерского пролетариата? Как проявлялись политическая нетерпимость и эгалитаризм в его среде? Что знали и что думали сельские жители о Советах, компартии, Красной Армии? Вот лишь некоторые вопросы, ответы на которые историк ищет в имеющихся в его распоряжении источниках [242–244].

Общественное мнение в последние годы сталинского режима, отношение населения к политике государства стало темой монографии Е. И. Зубковой [231].

Многие российские исследователи, нащупывая новые пути изучения феномена власти в отечественной истории, нередко не замечают «научного родства». Порой из зарубежной историографии заимствуются только темы и сюжеты, характерные для политической антропологии, сам же исследовательский подход автора остается в русле старой институциональной истории<sup>18</sup>. Поэтому важна историографическая

---

<sup>18</sup> Это характерно, например, для предпринятого М. Е. Бычковой срав-

рефлексия, осознание концептуального единства нового направления (попытка обоснования политической антропологии как новой парадигмы политической истории России предпринята в моей статье [234]).

Другое тематическое «поле», где уже применяется историко-антропологический подход на российском материале, можно назвать *религиозной антропологией*: речь идет об изучении субъективной стороны веры, народной религиозности, как определил это направление в свое время Л. П. Карсавин (о традиции изучения религиозности в отечественной науке см. статью А. С. Лаврова в кн.: [222, с. 4–13]). Вслед за германским исследователем Л. Штайндорфом российские историки занялись изучением эсхатологических представлений, а также различных аспектов поминальной практики в Древней Руси (см., например, работы А. И. Алексеева: [218, 219, гл. I–II]). **Эта тематика тесно связана с проблемой восприятия смерти в указанную эпоху, что также стало в последнее время предметом изучения отечественных ученых [221, 223].**

Важно подчеркнуть, что в рамках данного направления рассматриваются не только народные верования, представления о конце света, о загробном мире и т. д., но и разнообразные религиозные практики: поминальный культ, почитание мощей и икон (или, напротив, их поношение [224]), магия, колдовство и т. п. Все эти сюжеты нашли отражение в капитальной монографии А. С. Лаврова о религии в России в 1700–1740 годы. Автор предлагает рассматривать отношения православия, старообрядчества и сектантства как взаимодействие трех религиозных культур. Он анализирует различные формы народного православия (магию, обряды перехода, эсхатологию, юродство и т. д.) и религиозность дворянского сословия, что дает возможность исследователю

---

нительного анализа обрядов коронации в средневековой России, Литве и Польше. См.: Бычкова М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г. М., 1996. С. 99–119.

по-новому оценить цели и результаты петровской церковной реформы [220].

По тематике и по источникам (судебно-следственным делам о преступлениях против ортодоксальной веры) к книге А. С. Лаврова близка монография Е. Б. Смилянской о народном православии в XVIII веке [225]. Однако исследовательский подход и постановка задач у этих ученых заметно отличаются: в книге А. С. Лаврова внимание фокусируется на социальных аспектах веры (народное православие и религиозность дворян рассматриваются отдельно), а также на религиозной политике властей; в работе Е. Б. Смилянской противопоставляются друг другу не разные слои населения, а народная религия, в той или иной мере присущая представителям всех социальных групп снизу доверху, — официальному учению церкви. Подобно другим историко-антропологическим исследованиям, книга Е. Б. Смилянской подчеркивает *инаковость* изучаемого общества, несмотря на его кажущуюся близость к нашему времени, и вскрывает обширный пласт архаической культуры в «просвещенном» XVIII веке.

«Ростки» исторической антропологии пробиваются и в других предметных областях исследования отечественного прошлого. Так, усилиями Е. С. Сенявской сейчас происходит институционализация *военно-исторической антропологии* России [274]; изданы три выпуска ежегодника, посвященного этому направлению исследований [270].

Наконец, следует упомянуть о смелом проекте Д. А. Александрова, предложившего использовать историко-антропологический подход применительно к изучению науки в России. В соответствии с ним в центре внимания оказывается не судьба научных идей, а повседневная жизнь ученых, межличностные и корпоративные отношения, неформальные контакты и объединения, покровительство и зависимость и т. п. [193].